

СЛЕПОЙ В ЛЕСУ

Отцу моей матери, вождю одного из кельтиберских племён, за дружбу и неизменную верность Риму в период мятежа Сенат и римский народ даровали гражданство и возвели его во всадническое достоинство.

Мать, по воспоминаниям домочадцев, по легендам даже, была женщина неповторимой красоты, и, не имея она в приданом всаднического кольца, моего отца и это, пожалуй, не остановило бы, даром, что он до конца дней мечтал вернуться в Сенат и завещал эту надежду мне. Он любил мою мать, несмотря на полную взаимность, какой-то безнадежной, обречённой любовью, и, когда, вернувшись с долгой прогулки, я застал отца над её остывающим телом — она умерла от укуса невиданной в наших местах змеи, в собственной спальне, в какие-нибудь полчаса, — я не заметил в нём ни скорби, ни гнева, а лишь просветление, как бы потому, что ужасное неизбежное, наконец, сбылось, и больше не надо отсчитывать дни и часы иссякающего счастья. Исполнив положенное на похоронной церемонии, он удалился и дней пять не показывался нам на глаза, не прикасался к еде, не желал видеть даже Парменона, так что мы не чаяли найти его в живых. Но он появился, без тени на челе, и тотчас сел за свою переписку — плести тончайшую и тщетную паутину, опутывающую всю империю, или так ему казалось, о которой я в ту пору ничего не подозревал и которая впоследствии легла на меня бременем нежеланной чести.

Мать, разумеется, не смела учить меня испанскому наречию, на котором говорила только с сёстрами, а иногда пела с ними, но лишь тайком от отца, от которого, наверное, у неё не было других секретов. Говорить со мной по-латыни она стеснялась, да и почти не могла, и моим первым языком оказался греческий, за вычетом тех латинских формул, без которых невозможно было обойтись в общении с отцом. Отец же, видимо, считал мой греческий мальчишеской позой, похвалёй зубрилы, и лишь после смерти матери, как-то за Кикероном, постиг всю глубину моего невольного невежества. От акцента я впоследствии с немалым трудом избавлялся уже в римской школе, и одноклассники, не отличаясь снисхождением, дразнили меня Испанцем, хотя я просто выговаривал латинские слова на греческий манер.

В детстве я довольно туманно понимал свою роль отпрыска имперского народа, а отца до времени занимали лишь внутренние рычаги власти в далёком Риме, с которым его связывала незримая пуповина, но которого ему так больше и не довелось увидеть. Товарищами моих игр были мальчишки-рабы, и, когда мы затевали вечные наши битвы Аннибала со Скипионом, мне, вполне естественно, как старшему, выпадала роль первого, остававшегося в Испании бесспорным героем, тогда как римским полководцем я назначал мальчика, чем-либо угодившего мне в этот день. Порой увлёкшись, мы в корне меняли движение событий: Аннибалу растворялись двери Капитолия, куда он каким-то образом въезжал на боевом слоне, милостиво жалуя пощаду побеждённым, а затем, оставив Скипиона в консульском звании и завещав свято хранить отеческие свободы, отбывал куда-нибудь в Асию умножать владения импровизированного римско-карфагенского союза.

Чего мне никогда, несмотря на все мольбы, не выпадало, так это по-быть Юлием Кайсаром. Отец, как видно, полагал его прямым виновником падения республики, хотя вслух об этом ничего не было, да и сомнительно, чтобы он снисходил до обсуждения политических материй с дядькой, над которым обычно подтрунивал и которому нарочно задавал глупейшие вопросы, выставляя его карикатурным философом, — он, впрочем, вполне и был им, со всклокоченной чёрной бородищей,

в нечищеном драгом плаще, с вечно волочащимися в пыли ремешками сандалий, так что нередко, в разгар какой-нибудь Нумантийской битвы, он, к обоюдному веселью враждующих лагерей, валился навзничь, мордой в пыль.

Запрет, наложенный на Кайсара, не распространялся на его предшественников, и я мог, по выбору, гарцевать то Марием, то Суллой то Помпеем. Предпочиталось, чтобы римляне не шли на сограждан, и поэтому Антоний в его распрах с несомненно ненавистным Августом часто выпадал из репертуара, хотя Сулле, бесспорному герою, всё сходило с рук.

С отцом, которого все мы, от детей до пропеченных на солнце чесальщиков льна, едва ли не боготворили, который был молчалив и участлив, пока дело не касалось чести семьи и отечества, меня рознило не сознаваемое мною в ту пору, но впоследствии отчётливо проступившее отношение к земле, на которой мы жили. Если для меня, до поры не знавшего иного неба, иного моря и города, не видевшего ничего странного в том, что многие из жителей, как и сам я, не вполне в ладах с латынью, это был единственный и настоящий дом, ревностью по которому, пусть не всегда осознанно, была пронизана вся моя дальнейшая жизнь скитальца вдали от отчего очага, для него, несмотря на всю любовь к матери, которой, впрочем, Тарракон тоже не был родиной и которая тосковала не меньше него, это была земля горького изгнания, и несбывшиеся надежды, надо думать, стояли у него горьким комом в горле и в час кончины. Несмотря на всю его внутреннюю собранность и упорство на пути к чисто воображаемой цели, отец был, как теперь очевидно, сломленным, глубоко несбывшимся человеком — в каком-то смысле ещё менее сбывшимся, чем я в мой черёд, потому что мне уже не было убежища в обмане. Мне довелось впоследствии встретиться со многими, знавшими его прежде, но в их рассказах предстал совершенный незнакомец. Иллюзии юношества изживаются, и моим порам настала рано, а он сумел, или просто ему пришлось, сплавить их в одну великую и беззаветную, и так и окончил дни в несостоявшейся, даже бессильной состояться республике ссыльного рассудка. Порой как ни больно, приходит в голову, что всё то время, что я знал его, он был по-

вреждён в уме, но лучше не забегать вперёд времени, потому что оно всё равно нагонит.

В консульство Г. Сентия Сатурнина мой отец, разорившись на устройстве городского благосостояния, был вынужден сложить с себя полномочия курульного эдила. Позора, положим, можно было и избежать, приди на помощь Кайсар, помогший в своё время многим и даже выдававший иным, на его взгляд достойным, претендентам на место в Сенате сумму, недостающую до имущественного ценза. Видя столь явное нерасположение будущего отца отечества (неужели я единственный, усматривающий нечто кровосмесительное в этой льстивой кличке?), прочие сенаторы, кое-кто даже из самых закадычных, остались в стороне, предоставляя неудачнику в одиночку карабкаться из пропасти непосильного долга. Брат, впоследствии мой дядя, пусть и не из первых храбрецов, помог, как умел, втридорога купив отцовский дом у Высокой тропы, а путеольская вилла отошла уже вовсе за бесценок вольноотпущеннику.

Я знавал и менее щепетильных людей, которые в подобной ситуации прибегли бы к милосердию меча. Но в отце кипела его неуёмная энергия, именно та, что разорила его на ремонте храмов, и, даже когда родичи жены, из захудалых и самых побочных Корнелиев, выхлопотали развод, подсыновив кому-то из своих моего брата Гаия, о котором история впредь так и не услышала, когда вчерашние соискатели, семена на фор, дружно принялись не узнавать, а многие из кровных даже опровергли родство по каким-то удобно отыскавшимся свиткам, он не уступил стыду и взялся за постройку новой жизни, не видя, как она уже каменеет в своей безвыходной одержимости. По счастью, оставалась еще усадьба в Тарраконе, благоустраиваемая в некотором тщетном расчёте, а тут и Агриппа, последний из благодетелей, не повернувшийся спиной, двинул легионы из Галлии усмирять бежавших из рабства кантабров. Испания виделась единственным ходом наружу, возможностью если не пасть со славой, от чего в скором времени оказалось довольно недалеко, то хотя бы увенчаться посильными лаврами и уйти на покой на берегах тирренской бухты. Последовал молниеносный обмен письмами, Агриппа сумел-таки выжать из вождя неохот-

ную милость, и менее чем через месяц отец, чудом избежав тяжбы с кем-то из отступившихся клиентов (чья прыть, впрочем, покорила и отца отечества, принявшего превентивные меры), уже летел по хлябям к пиренейским урочищам.

Кантабры, которым за вычетом рабских цепей терять было ровно нечего, а цена римского милосердия была уже подробно известна, бились насмерть, и в кавалерийской атаке на одно из их селений отцу знаменитой испанской фалькатой разворотили плечо до самого сердца, так что я, ещё не родившись, едва не угодил в сироты. Слава Эркулу, незадачливый убийца ударил с левой — правой недоставало, по всей видимости, ещё с прошлого мятежа, когда её отнимали в рабочем порядке всем взятым на поле боя. Но и этого хватило вполне, чтобы чешуйчатая галльская кольчуга лопнула, как застиранная туника. Легион ушёл, отца уложили умирать в дом будущего тестя, и пока тот во главе кельтиберской алы подметал объятую пламенем местность, его дочь, красавица тринадцати лет, уже обручённая с кем-то из соплеменников, наперекор природе, выходила посланца цивилизации, в результате чего помолвка была расторгнута, и мне определили мать. Эта кольчуга, вся в ржавчине, точно в свернувшейся крови времени, по сей день висит на гвозде у ларария — стартовый столб моей жизненной колесницы.

Мой брат Гаий — не тот, что с приданным Корнелии отошёл бывшим родичам, а родной, иберский, — был, насколько я вправе судить, мальчик редких качеств послушания и прилежания, не в пример моим, и ещё малышом, к сорокалетию, что ли, отца, порадовал его воображаемой речью не то Армодия, не то Аристокитона над телом тирана, составленной под попечительством того же дядьки Артемона; ибо отец предпочитал подводить нас к задуманной нам миссии исподволь, с греческой стороны, до известных пор наивно усугубляя наше латинское косноязычие. Брат, даром, что всего года на три впереди меня, тогда шестилетнего, изошрился вернуть такие злободневные каламбуры, что отец, пожаловав дядьке денарий, был всё же вынужден велеть его выпороть, чего у нас в обычае не было. Учёный потом признавался мне, что не имел в Гаиевом красноречии ни вины,

ни заслуги, но терпеливо вынес побои, боясь оправданием отвести не только кару, но и поощрение.

Как я слышал от няни, философ постучался к нам в ворота в год моего рождения и заломил за себя баснословную цену, но получил лишь половину и всё мучился, что продешевил, поэтому каждый пожалованный асс принимал как справедливую поправку к опрометчивой купчей.

Три месяца спустя после этой тираноборческой речи Гаий был забит ломовыми лошадьми на играх в колонии. Помню, я тогда долго плакал, но потом впал в свойственное детям бездушие и ночью, когда нянька тихонько посвистывала в углу, побежал к матери, чтобы она меня, живого, пожалела. У матери горела лампа, и она, сидя на кровати, беззвучно всхлипывала, глядя на разложенную у ног маленькую тогу брата, только что ему сшитую, но уже ненужную. Незамеченный, я сообразил, что тога теперь моя, и остался так доволен, что тотчас удалился к себе, не требуя ласки.

Меня надлежало назвать Лукием, так уж заведено было у нас в роду. Но традиции дрогнули, тем более что наши лары и пенаты сиротствовали на далёком Квиринале, где дядя, надо полагать, всё же не оставлял их без прохладного внимания. Здесь же, в Тарраконе, на видном месте в атрии хмурился бюст М. Поркия Катона-младшего, и отец, переглянувшись с ним в канун моего появления на свет, назвал меня в его честь Марком. Всё это, без сомнения, были детали того же неотступного плана, суеверная надежда, что с именем в меня вселится и рвение. План, конечно, увенчался лишь весьма отчасти, но я не имел дерзости даже загробно посрамить отца и годами оплачивал его надежды благочестивым обманом, скромно донашивая имя, предоставленное героическим бюстом.

Не все ли мы, римские дети, населяем своё первое прошлое безногими бюстами и масками, которые разыгрывают события из внушаемых нам уроков? Мне пришлось наблюдать народы — и не только полудиких свевов и васконов, — которым мысль о создании такого подобия усопших, а тем более по частям, казалась ещё нелепее, чем оставить самих усопших без погребения, для оживления интерьера и в назида-

ние идущим на смену. Возможно, что они в этом смысле сродни нам, детям, видящим в бронзе, мраморе и воске совсем иную расу существ, не таких тёплых и уязвимых, как мы, запертых пыльными свитками в навсегда состоявшееся расписание событий, в то время как нам приходилось гадать о завтрашнем и сомневаться во вчерашнем. Я, впрочем, беру на себя лишнее, расписываясь за всю римскую поросль, — это, скорее, маленький кельтибер во мне, полуотпрыск народа, только что оставившего собственное младенчество, разевал рот на пустоглазые заморские дива. Прямо напротив Катона висела маска нашего предка, поэта, и мне мерещилось, что, живя под нашей крышей без движения, они умеют и говорить без звука, в том числе и обо мне, докладывая друг другу и другим таким же, с позеленевшими лбами, о моих нехитрых проказах. Когда Артемон, втемяшивая в меня историю, докатился до кончины Катона, я умирал со страху, потому что был совершенно убеждён, что вот этот, в нашем атрии, и есть настоящий, единственный Катон — такой, каким он стал после своего благородного конца, и что, когда я наложу на себя руки, то есть умру единственным понятным в ту пору образом, у меня не будет больше ни этих рук, ни ног, а только мраморные охряные щеки и полуоблупленные глаза, чтобы перемигиваться с восковым Лукилием. Эти двое стали для меня первым наглядным уроком смерти. Вечером, пока не увели спать, я сидел в этом людном полумраке, принимая свои неожиданные мысли за бестелесный звук голосов умерших.

В детстве я много болел — вернее, я был куда здоровее сестры и братьев, но подвержен какой-то ночной меланхолии, когда вдруг накатывал необоримый страх перед жмурящейся на меня со всех сторон потемневшей жизнью, в которой до утра было нечего делать, чтобы отвлечься; в которой я, ещё в пятнах неостывших взглядов пустоглазых калек, начинал полагать себя невольным средоточием и даже источником объявшего землю мрака, насылающим его на всё дышащее в округе — на змей и гусениц, на кротких коров в хлеву, на хромого ослика, которого я запретил отдавать живодёру, и он был конницей в наших набегах на луситан, на всех домашних, слабеющих от острия тьмы, вогнанного мной им в зрачки, тогда как настоящий

свет, конечно же, и не думал никуда деваться, но об этом никто не подозревал, равно как и во мне — виновника ночи. Ещё до сумерек я принимался убеждать себя оставить на этот раз день в покое, установить грустное время расставания, чтобы можно было по-прежнему носиться по двору за вражескими курами, уплетать утаённый нянькой сыр или с любовью следить, как мать неумоимо прядёт свою шерсть. Но я уставал, ночь зажигала чадящие свечи и стучала в стены маленькими летучими чудовищами, а я, стоя во весь рост в кровати, уже тихонько выл и взвизгивал, пока мать и няня сновали в привычной панике. Их причитания и тревожные расспросы отлетали от меня, как ночные бабочки, — разве мог я, источник обессилившего их зла, исповедаться в объявшем меня ужасе?

Но это была ещё безоглядная пора пробуждения от прежней детской полусмерти, не тот теоретический плач сомнения, который одолел меня несколько лет спустя и который мне, из бессилия вразумить мнимых вопрошателей, приходилось мотивировать недугом. Тогда, за вычетом ночи, мне было ещё весело и просто быть ребенком, неумело идти нашим тенистым двором с журчащим в чаше амуром, впереди внимательной няни, в облаке такой понятной и бережной любви, в только что подаренном ожерелье из золотых топориков, наковаленок и птиц, с маленьким аккуратным фаллосом посередине, который я тербил и всё пытался разглядеть, скосив глаза под подбородок. В портике сада Артемон нарочито и театрально отчитывал Гаия за предполагаемые огрехи в греческом (мы порой перенимали лишнее у дворни), а я, такой маленький и свободный, всё стремительнее переминаясь на неловких ножках, но так, что даже и няня не поспевала подхватить, уже летел с порога в подол к матери, которым она, смеясь, опутывала меня и ловила. «Смотри-ка, Юста, какой воробышек впорхнул», — шутила она, и няня радостно подыгрывала, пускаясь перечислять вероятные блюда из воробышка, которыми станут лакомиться сегодня господа; но я уже не пугался, помня это меню наизусть, и даже добавлял какой-нибудь паштет, упущенный нерасторопной Юстой. Её отсылали; мать сажала меня на колени, гладила волосы, взмокшие от усердного бега, и я погружался в завораживающий мир её бесконечных историй, ко-

торым сам воспретил прекращаться: о храбром Вириате, враге и по-срамителе римлян, так и не успевших с ним совладать (мать умерла раньше); о Калидонской охоте и беге Аталанты, которая, во избежание скоропостижного конца рассказа, поочерёдно доставалась каждому из соискателей; и о чём-то уже вовсе диком и неслыханном, о каких-то одноглазых и одноруких старухах, насылающих заклятия, о витязях в пути за чудотворными амулетами, о нежных девах, поверженных в столетний сон настоями из семи трав, которые, по пробуждении, верно отдавались этим мужественным старцам. Наверное, она сама слышала эти сказки в своём испанском детстве — она рассказывала их каким-то гипнотическим полунапевом, и, бывало, если по ходу действия витязь или дева срывались в песню, она тихонько пела мне её по-испански, поглядывая на входной полог.

Порой заходил отец, никогда, впрочем, не застигший её врасплох, — обычно с навощённой дощечкой в руках, озабоченно хмурясь. Но при виде нас его лицо светлело, он знаком усаживал мать, не успевшую сдвинуть меня с колен, а я, вдруг припомнив на что, собственно, ушёл день, торопливо копошился в складках туники: «Папа, папа, видишь, я стрига поймал — ведь это стриг, правда?» — и протягивал ему на ладони изувеченное страшилище с измятой фасеточной головой, с выдвинутым хоботом и отвисшим крылом в тяжёлой тёмной чешуе, — воплощение моих ночных ужасов. Мать пыталась изобразить строгость: «Ты уже не маленький, говори отцу: господин»; но отцу было, видно, не до педагогики, его распирали хохот от моей ребячьей находчивости. «Да, мальчик, — говорил он, — это стриг, они именно такие. Видишь, умно ли этой глупости по ночам бояться?» Я-то как раз думал, что умно, но не смел, да и не умел ещё, вступать в пререкания, и в отсутствие положенной похвалы смиренно принимал предлагаемую. Тут же подзывали кого-то из домашних унести монстра и предать огню, а с меня брали слово впредь не уступать ночному испугу — неохотное слово, без веры сотрясавшее воздух, потому что некому было открыть меру моей вины и бессильной власти.

«А ну-ка, нюня, поди сюда — обхохочешься», — говорил Гаий в зелёную амбразуру плюща, когда я снова выкатывался в сад, а мать

и няня устраивались с веретёнами в тени портика. В предчувствии нехорошего я все же не мог не откликнуться на зов загадки. В дальнем углу, на вытоптанной поляне с мраморными часами, у брата уже была организована охота, колышек с бечёвкой, на которой бился воробей. Как только я возникал из-за кустов, он выпускал из-за пазухи ручного хорька, извилисто летевшего к несчастной птице, после короткой возни, перемежаемой безнадежным писком, хорек предсказуемо выходил победителем и гордо вздымал над поверженной жертвой подслеповатую мордочку в багровых бисеринках. Я ударялся в рёв. Вновь склонялись надо мной мои утешительницы — мать, утирающая мне нос подолом, и полная нежной укоризны няня: «Будет тебе, господин, оставь маленького». С тех пор, как брат был уступлен философу, она взяла себе в правило обращаться к нему, как к большому, и одёргивала других рабов, которые, из любви к ребёнку, пренебрегали этикетом.

Гаий, каким я его помню, был вовсе не злой мальчик, он искренне порывался растормошить меня, развлечь, а в минуты особого расположения учил некоторым греческим буквам, уже объяснённым дядькой. Если чувствам детей дать имена, принятые у взрослых, он, пожалуй, любил меня, и я безошибочно понимал это, прощая ему шалости, которые порой вгоняли меня в слезы. Игрушки у нас были общие, были даже ручные мыши, таскавшие повозочку с соломенным возницей, но с ними быстро расправился хорёк Агатока, новый и уже окончательный любимец — разлюбить у брата не оставалось времени.

Это было давно, и мне уже не найти под сердцем острой льдинки, оставленной его смертью. На первых порах это была всего лишь пустота, звянящая нота тишины в саду, за уроком Артемона, не покрываемая его нудным тенорком и стрекотом птиц; по дороге на форум или ипподром, хотя мы никогда не бывали там с ним вместе, но я слышал, как старательно обходили мать с отцом иные темы или просто слова, связанные с его отсутствием; но особенно ночью, когда за пошвистом уснувшей няни я силился различить его привычное дыхание, едва сдерживался, чтобы не окликнуть: «Спишь?» — и нащупывал испуганной рукой холодный нос Агатока, понимая, что и он по-своему думает о том же. Неделию спустя после кончины брата я стал пытаться

играть с ним, как если бы ничего не произошло, будто надеялся несто-
ворчивостью выиграть его у судьбы, пока она не окаменела, как бетон
в опорах акведука, который тогда подводили к нам в город. В саду, где
по-прежнему журчала слышанная им вода, где в тени портика шурша-
ли грустные прялки, я раздвигал занавес плюща в солнечных прорехах
и выходил к часам, стараясь не отвлекаться, не отвести взгляда, прежде
чем Гаий не соберётся с силами стемнеть за спиной из воздуха и снять
с меня непосильное бремя вожака игр. Для полной убедительности я
выпросил у матери медяк и, купив воробья у того же скотника, сам
спустил на него хорька, который выполнил все положенные упражне-
ния, но с какой-то оглядкой, словно без особой веры. Засыпая в необъ-
яснимых слезах, я спрашивал, почти кричал, но без звука, лишь тща-
тельно шевеля губами: «Где ты, Гаий? Почему ты оставил нас? Неужели
ты больше не вернёшься, и мы уже не будем играть в цирк, и в бабки,
и с обручем?» — «Нет, я не вернусь. Я уехал навсегда в Индию. Когда
вырастешь большой, приезжай ко мне с Агатоклом, я возьму тебя охо-
титься на слонах». Я силился вообразить его индийцем, не имея поня-
тия, что это за люди, каким-нибудь ушлым и ражим, но перед глазами
вставал дощатый ящик с ручками, в котором слуги несли его к повозке.
«Дурачок, нюня, ты думаешь, я умер? Это Катон умер, а вовсе не я.
Я тогда просто заснул». Засыпал и я. Но теперь я забыл его и не могу
воссоздать ни лица, ни голоса. Маленький Гаий навеки остался узни-
ком памяти маленького Марка, и обоих поглотили дюны времени.

С той поры мне уже не приходило в голову бояться бюстов. Смерть,
прежде восковая, мраморная и бронзовая, покинула полки атрия
и жила с нами, как своя, высматривая себе новых собеседников. Ждать
ей оставалось недолго. Первым отбыл хорёк, будто с опозданием по-
нял, что он вовсе не там, где ему теперь положено быть, и что любят его
какой-то выдуманной любовью, адресованной другому. Резвый мул на
заднем дворе перебил ему хребет.

Помню, как в час утренних игр я, тогда ещё не отданный дядь-
ке в науку и опекаемый матерью, вошёл к ней и без обвиняков спро-
сил: «Мама, ты не умрёшь?» Она смешалась — наверное, потому, что
рана была свежа и её собственные мысли были примерно о том же.

«Ну, что ты, маленький, разве я тебя оставлю? Разве я могу оставить отца?» — «А Гаий мог?» Не понимая правил обихода, я бил по живому. За пологом таблица, где отец разбирался с управляющим (зачем я это запомнил?), бубнили: «Это не тара, господин, это чистый бой. Всегда у Сосия брали, в те хоть свинец заливай». Мать сидела, уткнув лицо в ладони, и её веретено медленно катилось в угол, метя шерстяным хвостиком по мозаичным завиткам.

Сейчас — а это не единственное «сейчас», их два или три, по числу моих паломничеств к этому месту записок, — я с трудом воссоздаю последовательность тех давних событий, а то и вовсе не пытаюсь воссоздать, лишь наугад извлекая случаи из путаного набора детских впечатлений. Необученное детское время наивно ползёт во все стороны, и только строгое бронзовое лицо смерти, возникая на полке у входной двери, постепенно придаёт ему истинное направление — во всяком случае, то, которое уговорено между нами полагать истинным. Из этой поросли равновеликих фактов мне всего различимее два, чьи следы пролегают к пустым мраморным глазницам. Первый — гибель Гаия. Второй, случившийся то ли после, то ли вместо, — младенческий сон, подобного которому я больше не помню, а других, персонажей нашего всеобщего сна, не расспрашиваю. Мне виделось, будто я прошёл через сад к задним воротам и, вместо пыльного двора с сараями и затопленных известковых карьеров, увидел пологий склон, сбегавший к росистому лугу, в темно-зелёных отметилах платановых роц, в редких свечах кипарисов, с прозрачной и ледяной на взгляд речкой, певшей вдалеке. Сойдя по склону, я увидел отца и мать — они сидели на траве с серебряными чашами в руках и улыбались мне навстречу. Отец, никогда не выходивший без плаща, был одет по-домашнему, в распоясанную тунику; густые русые волосы матери, чуть подколотые на затылке, рассыпались по плечам. Рядом лениво перебирала стебли лохматая гадесская овца, а отцу положил на колени голову чёрный лоснящийся зверь, имени которого я ещё не знал, — пантера. Отец поглаживал её за ушами, и она блаженно жмурилась, обнажая жёлтые клыки. Тут же перебрасывались мячом рослые и красивые люди в лёгких одеждах, наши домашние и другие, мне незнакомые, а между ними беспривяз-

но бродили скот и дикие звери, обычно приносимые с охоты или выданные на картинках. От ближней рощи неторопливо подходил Гаий со спокойным хорьком на руках.

Здесь, конечно, явная путаница. Мне было тогда года три, от силы четыре. Брату оставалось ещё три года жизни, но радость, которая охватила меня при виде его, идущего к нам по лугу, была совершенно несоразмерна встрече с живым, повседневным человеком — она, скорее, подошла давно ушедшему и нежданно возвратившемуся, хотя ни о какой Индии речи, конечно, не было. И как объяснить хорька, которому, по всей хронологии, ещё только предстояло появиться на свет? Где теперь моё настоящее прошлое, и что в нём дорисовано угодливой памятью?

В этом минутном и ослепительном мире, затмившем материнские сказки, я попытался остаться навсегда, но не смог, смутно сознавая, что не готов к нему, и ещё не догадываясь, что так никогда и не буду готов. Я лежал с открытыми глазами, бездумно глядя в светящуюся стену, в неожиданно распахнувшееся сумеречное будущее, по которому, как по воде, тихо катились круги от канувшего в бездну самоцветного камешка сна. Когда няня, умыв, отвела меня к матери, я пытался угадать, помнит ли и она приснившееся, но спросить у меня не повернулся язык. С этого дня, если он не выдуман, я прекратил свои навязчивые встречи с Гаием и уже не донимал его расспросами об Индии.

Я не помню лица матери. Может быть, виновата молва о её красоте, для меня большей частью посмертная и сбивающая с толку, которой не сопоставить с простыми критериями ребёнка, — какое любящее дитя не считает свою мать красавицей? Мы вряд ли задумываемся о красоте до того времени, когда она становится для нас наружной оболочкой пробуждённого полового интереса, а до абстрактных принципов, трактуемых, скажем, в платоновском «Файдере», поднимаются лишь считанные, хотя согласны многие, потому что привычно. Трудно поверить, какая бездна образования позволяет нам любоваться простым пейзажем, из которого крестьянин добывает свою полбу. Однажды, в ответ на мою бесхитростную лесть, Помпея заметила, что, если бы все люди, ради справедливости, ме-

нее разнились лицом и сложением, мы опять отыскиали бы в них то удобное нам, что наши философы возвели бы в ранг красоты, потому что людям нужен принцип отбора. Для крестьянина и ребёнка красота утилитарна, она совпадает с едой и удобством. Я помню руки и волосы, столу, в складки которой я прятал заплаканное лицо, но яснее всего в памяти — её голос, ничуть не стёршийся, не поблекший, умолкший голос любви, который звал меня наружу из скорлупы детского страха. И теперь я здесь — многократное «здесь», повторённое эхом событий и угасшее, — только потому, что поверил этому голосу, уступил его нежным уговорам. Излишне объяснять, что этот эпизод моих записей я излагаю с наибольшего расстояния, не сравнимого с отделяющим меня от честолюбивого и по уши влюблённого юноши, который уже предается веским рассуждениям, пусть они и смешны ему же на склоне дней. Неумелые мысли ребёнка вспоминаются легче и значат меньше его прямых впечатлений. Помню, я полагал тогда, что ветер производят деревья, размахивая ветками, но эта наивная теория теперь не так важна, как само первое наблюдение ветра. В жизни человека наступает время, когда уже ничто не случается с ним в первый раз. Поэтому я куда свободнее редактирую своё детство, отделяя шелуху наивных домыслов и мелочь застрявших в зубах событий от немногих, но ослепительных вспышек, постепенно сливающихся в ровный свет. Воспоминанию подлежит лишь то, что пошло в рост и в колос в бороздах будущего, остальное выполото. Совершенно случайно память подсовывает одно задумчивое утро, когда, разложив перед собой самые любимые игрушки и безделки, вроде шумящих раковин с пляжа и облупившихся в трудных походах солдатиков, я сравнил свои досуги с нудной неизбежностью жизни взрослых, которую они напрасно полагали для меня непостижимой, и горько пожалел, что сам когда-нибудь окажусь одним из них, что буду с досадой выговаривать управляющему, предавать себя рукам палача-брадобрея, и уже не вспомню о том, что важнее всего — о вертушке из щепок, о заточенной бронзовой спице, о жуке в запечатанной воском коробочке, на котором, трепеща за мать, я проверял действие смерти. Всё сбылось. Прости меня, этот милый мальчик, одноимённый мне.

Из всего скудного ассортимента взрослых занятий только религия, о которой, впрочем, я имел вполне своеобразное представление, поражала меня своей пользой и тайной. Благочестивые наставления отца и Юсты, имевшей собственный алтарь с неуклюжей глиняной Тутелой, никак не увязывались с забавным игрушечным войском нашего семейного святилища, где главенствовал бородач Юпитер со своей некрасивой Юноной. Были там ещё и Эркул, Марс, Веста, Минерва на греческий манер в любовно выточенных расписных доспехах, и человечки-лары с маленькими сердитыми лицами. Этих, в отличие от восковых покойников атрия, мне не приходило в голову бояться, хотя нянька и норовила пугать, застигая в шалости. Было трогательно, что и сам отец, авторитет которого в ту пору был непоколебим, считал их как бы живыми, к чему-то склонял, уговаривал и даже подливал масла и вина, что вполне смахивало на наши игры — поначалу со старшим Гаием, а затем и с младшими. Он знал их язык, и они понимали его — ведь не обращался же он к ним притворно, как мы к своим недомеркам из щепок и прутьев. Дважды я был застигнут и сурово отчитан за попытку объясниться с ними без свидетелей и посредников — хотя не сам ли я ежедневно за обедом был делегатом от них, объявляя серьёзным детским голосом, что пища им угодна, будучи так научен, хотя и без малейшего понятия, какая, например, пища им не понравится? Когда погиб Гаий, и отец стал ещё обязательнее в обрядах у ларария, я решил, что его обитатели причастны тайне исчезновения брата, и мечтал о времени, когда вырасту, безбоязненно к ним войду и распрошщу напрямик, о чём молчал со мной отец.

На рассвете последнего дня матери дядьке, под началом которого я жил уже два года, велели взять меня на море; в одиночку или с мальчиками мне туда ходить ещё не позволяли. Это было в утро Ларалий — одно из первых торжеств семьи, а другие индевеют в памяти. После совместных приношений мать с близнецами, Гаием и Лукилией, вышла в сад. Я простился с ней и отцом, который был почему-то особенно весел и, целуя меня, пошутил: «Ну вот, не всё тебе над Омером пыхтеть, поскачи на воле». «Спасибо, господин», — послушно пискнула я, хотя пыхтеть тогда было намечено не над Омером, а над Пиндаром,

фаворитом риторы. Лукилия уже визжала в путях шиповника, куда по обыкновению загнал её брат.

Эта прогулка теперь тоже канула в забвение, хотя вернулись мы сильно за полдень. У ворот растерянно металась дворня, подавали повозку с плешивым ржаным меринком, в которую садился носатый человек в хитоне, испещрённом неряшливой штопкой, — врач, подошедший, чтобы объявить очевидное.

Пока её не вынесли со двора — в ящике, как и брата, только чуть побольше, — мне даже не приходило в голову расплакаться. Мои уроки отменили на два дня, погода мгновенно испортилась, и неизбежные гости нанесли в дом такую уйму грязи, что пришлось звать людей с поля, потому что домашние не справлялись с уборкой. Два дня я прожил в безоконном чулане, в левом крыле атрия, где был подвешен старый отцовский щит и пахло пауками. Иногда я ложился на кучу ветоши, тут же, в углу, лицом к проёму, дивясь, откуда их столько набежало на наше ующение, этих прожорливых в нестиранных робах, и ужасаясь, что им настанет время уйти, дом умолкнет, и будет слышно, как я неумело, выбиваясь из сил, существую в своём восковом теле, которому тоже уже готов где-нибудь ящик с ручками, но в суতোлке не распорядились принести. На оловянном блюде жухли и морщились маслины, оставленные терпеливой няней.

Прожорливые в нестиранном были, вероятно, кирпичники из отцовской коллегии. На второй день подошёл и вовсе небывалый гость, легат-пропрайтор. Оставив ликторов у входа, где ходили волчками товарищи моих исторических забав, он недолго беседовал с отцом и вскоре отбыл. Не шелохнувшись, как обыкновенную вещь, я созерцал сотрудника имперской власти из моей паучьей амбразуры. Во мне, воспитанном в беспрекословности, отроду не помышлявшем и не видевшем нужды послушаться, настолько очевидно всё складывалось к моей малолетней пользе, в этом несмыслённом побеге, пущенном отсюда в прошлое памятью, росла и распускалась ярость, душливая, как летний полдень в Египте. Рука, в которую я огарком воли заточил этот дотоле неведомый мне огонь, дергалась на отлёте и голодно вгрызалась пальцами в штукатурку, аж кровь выступала

под ногтями и на содранных сгибах суставов. Уже не помню почему, но предметом этого первого гнева я избрал именно легата, неосознанно перенимая то невидимое и тёмное, что поднималось тогда в отце, пока он, в своём чёрном, вежливо, ох, как вежливо, подгонял к устью выдохшуюся беседу гостя, у которого пурпурная полоса тоги шла таким щеголеватым изломом, что за этим виделись месяцы муштровки гардеробщика. Я выполз по стене, как некая вертикальная камбала, и, пряча изувеченную руку, не снимая с легатской плечи прицела ненависти — чуть ослабни воля, так и ринулся бы ему в бок головой, — вынырнул наружу, где ликторы ещё торчали со своими смертоносными вениками, прочь, к мраморной плите, отсчитывающей будущее.

Там, в дальнем углу сада, где затенённый фриз портика приходил в упадок и по-осеннему осыпал лепнину, я обнял облезлый ствол платана и впервые попробовал заплакать. Надо мной и как бы везде, во всём притихшем и разбегающемся в стороны воздухе, возникало стальное жужжанье цикад. Оно проникало под кожу и под землю, выростало до самых облачных перьев и сгушалось, дрожа, снаружи и в самом черепе, замещая собой всё вещество вселенной. Мой хрупкий мир, охромевший с кончиной Гаия, а теперь, с уходом матери, и вовсе обезглавленный, весь, с таким трудом выросший, платановый ствол стал расплетаться и таять, оставаясь столбом насадного звона, который пронзал сердце и выжимал дрожью глаза из орбит, этих мраморных пробоин в голове Катона. Бессловесным умом ребёнка, мгновенно освобождённым от ахинеи непережёванного Пиндара, я постигал необъятность своего одиночества в насквозь воображённом мире, где, по моему манию, возникали и пропадали люди, как мигающие августовские звёзды, близкие и дальние, до самого неведомого Аннибала с его аккуратной повязкой на глазу, с вероломными галлами, топотом слонов и балеарскими пращниками, вышибающими, точно одушевлённые зубы, метателей дротиков из челюсти легиона. Проверая догадку, я напрягся и вообразил отца. «Пойдём, будет тебе, — сказал он, кладя мне на плечо тяжёлую ладонь. — Приляг немного, ты нездоров». Я заплакал лишь глубокой ночью, когда меня, уже дремлющего, вдруг неожиданным толчком крови вскинуло над постелью и низвергло в чёрную пропасть

яви, где я теперь навсегда остался один. Во мраке, куда не пробивалось дыхание, у самого лица дрогнуло маленькое пламя лампы, которую держал мой старший брат, оправляя сбившееся одеяло. «Ну что это ты, дурачок, — бормотал он, сам, впрочем, вздрагивая и озираясь на нянин храп. — Это же снится всё, разве не понимаешь? Или маму позвать, хочешь?» Я улыбнулся и помотал головой. Гайй опустил лампу на столик и стал околачивать кулаком свою несговорчивую подушку. От него сладко пахло набегавшимся за день мальчиком, почти мной. Я пошевелил изувеченными и распухшими пальцами и откинулся в накатившую волну сна, где уже по зелёной поляне шли мне навстречу колченогим дружеским шагом жёлтые в зигзагах камелопарды с хитрыми рожками меж ушей, мягкими губами подхватывали с ладони клевер, а из наклонённой чеканной серебряной чаши стекало в траву рубиновое вино.